

Мандариновый лес

Наташа была уверена — счастливее времени не было. Нет, не так — конечно же было! Было, когда появился Сашенька. Но тогда, в те далекие годы, она была оглушительно, ошеломительно счастлива. Без всяких там оговорок и ожиданий.

— А что мы с тобой ели слаще морковки? — сердилась подруга Людка.

— Дура ты, — отвечала Наташа. — При чем тут морковка? Любовь была, понимаешь? Лю-бовь!

Людка ехидно уточняла:

— У кого? У тебя?

— У меня, — подтверждала Наташа. — И знаешь, иногда этого бывает достаточно.

— Для идиотов, — хихикала Людка.

Наташа не отвечала.

Кто может отнять у нее это? Кто вообще может отнять воспоминания? Тем паче, что воспоминания подтверждались напоминанием — ежедневным и ежечасным, самым счастливым и самым тревожным. И напоминание это — любимый сыночек Сашенька.

заведующая, злая, как собака на привязи, чуть что — сразу выговор.

К дефицитному товару Наташа допущена не была — еще чего! «Привилегии надо заслужить», — говорила заведующая. Тоже мне привилегии — польская пудра или югославская тушь для ресниц. Но было обидно, что говорить. Видела, как другие обдeldывают делишки — берут пачками, а потом продают на сторону. И, конечно, с наваром. Правда, вряд ли она бы так смогла.

Последней каплей были немецкие колготы «Дедерон».

— Три пары? — возмутилась заведующая. — Ну ты и нахалка!

Да, три — себе, Людке и сестре Таньке. В подарок на Новый год. Но нет, не дала — перебежешь! От обиды Наташа расплакалась и, наревевшись в подсобке, отнесла заявление в отдел кадров.

Остаться в торговле не хотелось. «Не мое», — говорила она. А куда податься? Образование восемь классов, талантов ноль. Ни денег, ни полезных знакомств — ничего.

Учиться тоже не хотелось. Если честно, вообще ничего не хотелось. А вот замуж хотелось, и детей тоже. Квартиру свою, чтобы чистоту наводить, украшать, цветочки там на подоконнике, герань и фиалки, чтобы гладить мужу рубашки, варить борщи и печь пироги.

Скучные мечты, но что поделать — такая она получилась.

Сестра Танька работала на заводе. Пахала как лошадь, приходила домой и сразу заваливалась в кровать. Поспит пару часов, а после поест, иначе кусок в горло не лезет, такая вот жизнь.

Родителей не стало, когда Наташе было пятнадцать. Ушли одновременно, «почти хором», как говорила Людка. Мучили друг друга, ругались без остановок, а друг без друга не смогли.

Похоронили маму, запил отец. Горько запил, страшно. И через полгода инфаркт. Выжили, но через полтора года и его проводили. Перед смертью все плакал, просил:

— Девки, вы меня рядом с мамкой похороните. Лягу рядом и буду прощения просить. Может, простит.

Остались Наташа с Танькой вдвоем. Ну и Людка, конечно. Почти все время Людка торчала у них — дома несладко. Пили и папаша, и старший брат, оба буйные. Как нажрут — скандал и драки.

Мать, тетя Рая, тоже с характером. Орет так, что кровь в жилах стынет. «Собачья жизнь, — говорила Людка. — Но у меня будет все по-другому».

Наташа в это не верила — откуда по-другому, с чего бы? Мало кто выбирался из их Вороньей слободки, по пальцам пересчитать. Как гово-

рили, где родился, там и сгодился. Хотя в слободке родилось поколение Таньки и Наташи, а родители были приезжими, лимитчиками. И называли их коротко — лимитой. Жили все почти одинаково: женились на своих, играли пьяные свадьбы, на столах обветривался винегрет и подсыхала толсто нарезанная колбаса, клялись в вечной любви, при слове «горько» считали до десяти, били на счастье дешевые мутноватые бокалы. Счастливая невеста рдела под тюлевой фатой, а уже через год повторяли судьбы родителей и соседей — скандалы, побои, разбитые скулы, затекшие веки, милиция.

В общем, зря били бокалы — какое там счастье..

Вот Танька, сестра, вполне симпатичная. Точнее — была симпатичной. Синеглазая, белокожая, волосы нежные, тонкие, льняные. Раньше была веселушкой — смешливая, анекдоты рассказывала, пела хорошо, частушки как заведет, так все вповалку.

И что? А ничего. Ушло все, как не было. В двадцать пять от веселой и симпатичной Таньки ничего не осталось, просто другой человек. В глазах усталость и сплошная тоска. Как говорится, была Танька, да вся вышла.

Завод построили после войны, в сорок девятом, на самой окраине города. Вокруг тогда были деревни. И поселок, слободка, начал застраиваться вокруг завода — жилье для рабочих.

Отдельный город, даже не верилось, что в полчасе Москва.

В пятидесятых за жилыми бараками понастроили курятников и сараюшек для скота. Нет, коров не держали, а поросят запросто. Сажали и огородики, в основном картошку. Заводские гордо называли себя москвичами, но в душе оставались деревенским людом, тоскующим по земле и хозяйству. Танька рассказывала, как дурниной орал соседский петух — будильник не нужен.

В их рабочем районе, построенном вокруг завода и прозванном Вороньей слободкой, все женщины после свадьбы на следующий же день расставались с молодостью и радостями. Впрочем, и до замужества радостей было немного.

Мужики тяжело работали и много пили, женщины тоже работали, рожали детей, стирали в корытах, и топили печки, и без конца бились с пьющими мужьями.

Мало кто выбирался в другую жизнь, мало кому удавалось.

Наташа про себя знала — она бесхарактерная, в маму. Да и отец был слабоват. Неплохой человек, когда трезвый. Но как выпьет — беда. И Танька, сестра, сразу со всем смирилась и фыркала: «Все так живут, чем мы-то лучше?» Одна Людка была уверена, что выберется: «Ни за что здесь не останусь — руки на себя наложу, а не останусь!»

В шестидесятых бараки сломали и быстро построили типовые пятиэтажки. Квартиры в них были плохонькие, но зато отдельные. Успели получить двухкомнатную до смерти мамы — правда, пожила она в ней совсем немного, но порадоваться успела. В одной комнате родители, в другой Танька с Наташей.

А после смерти родителей стали и вовсе владелицами отдельных комнат. Но вскоре Танька вышла замуж и привела в дом своего Валерика.

Трезвый Валерик был тихим и мрачным, молча приходил с работы, молча съедал обед и заваливался спать. А по выходным и праздникам «уходил в загул», выпивал. Драчливым не был, но делался таким разговорчивым, что остановить его не было сил. Наташа жалела бедную Таньку и сменяла ее: «Давай, Валер, — вздыхала она, — пришли свежие уши». А измученная сестра уходила поспать.

Наговорившись, Валерик так и засыпал за кухонным столом. Тощий, страшный, в голубой майке-алкашке, с татуировкой на хилом плече.

Наташа не могла понять, что Танька нашла в этом уроде? А сестра считала, что ей повезло. Во-первых, не лупит, а во-вторых, отдает всю зарплату.

— Вот уж счастье! — презрительно фыркала Людка и с тяжелым вздохом добавляла: — Ну, по Сеньке и шапка.

Конечно, обидно, но по сути Людка права.

После увольнения из универмага Наташа заехала дома. Госка. Покормить Валерика, выслушать его бредни — зять был косноязычный до тошноты. И все по кругу, по кругу.

Стирка, готовка, уборка — надоело до чертей. В общем, Людка уговорила ее пойти в училище. Сработал главный аргумент — там хоть нет этих рож. Народ вежливый, интеллигентный — одно слово, художники.

Училище находилось недалеко от метро «Таганская». Перед зданием Наташа заробела, остановилась. Как-то не по сердцу ей была эта работа. Но хмурая Людка толкнула ее в спину:

— Что встала? Пошли!

По коридорам спешили студенты — сосредоточенные, важные.

— Деловые, — усмехнулась Людка.

В отделе кадров все прошло как по маслу, и Наташе объявили, что заступать она может хоть завтра.

Видя ее растерянность, Людка смилостивилась и потащила ее по классам.

От волнения Наташа вспотела, но отпустило быстро — ничего страшного, никаких неприличностей, никаких голых тел, все прикрыто и пристойно.

А ночью все равно не спала, психовала.

В восемь утра встретились у подъезда. Людка хихикала:

— Ну что, ударница труда? Готова к подвигам во имя искусства?

— Отстань, — отмахивалась Наташа. — Не цепляйся, репей!

Раздевались в комнате для натурщиков. Увидев так называемых коллег, Наташа застыла. Ничего себе, а? Еле живой древний дед на полусогнутых, синих от разбухших вен ногах, сильно пожилая и очень толстая тетка с бордовыми растяжками на животе, молодой, нездорового вида парень, которого она тут же про себя окрестила «чахоточным», и хмурая, недовольная девушка с огромным, впол-лица, страшноватым красным пятном.

«Ну и публика, — подумала Наташа и успокоилась. — А я еще переживала!»

Тоненькой она тогда была, былинкой-тростинкой. Тоненькой и хорошенькой: легкие светлые волосы, серые глаза, чуть вздернутый нос. Ничего особенного, но милая. *Он* так и говорил: «Ты очень милая».

Наташа ему верила. Как она ему верила! Всегда и во всем.

Но это было чуть позже.

В общем, ничего страшного в училище не оказалось, зря психовала. В классе ее усадили на стул, стоящий на небольшой круглой сцене, которая называлась подиумом, и попросили сидеть, не двигаясь. Сорок минут сидеть, десять на перекур. Наташа не курила, а в объявлен-

ный перерыв толпа студентов, как оглашенная, рванула в курилку. И еще долго по классу витал горьковатый и крепкий дух табака.

Писали портрет. Преподаватель по фамилии Хорецкий, немолодой, иконописно красивый, седовласый и черноглазый сурового вида мужчина, строго, как надсмотрщик, наблюдал за залом и натурой. Говорили, что у Хорецкого молодая красавица жена, кажется, из балетных, пятая или шестая по счету, и малолетний ребенок. Еще говорили, что в него влюблены все студентки и преподавательницы.

Хорецкий недовольно хмурился, цыкал на студентов, резкими движениями поправлял Наташины волосы и поворачивал ее голову. От его сильных, холодных и хватистых движений Наташа вздрагивала.

Студенты были доброжелательны, дружелюбны и нейтральны: «Привет — привет, пока — пока». Все. Она понимала — воспринимают ее исключительно как модель для наброска, рисунка или портрета. Все остальное их не интересовало. А вот она с интересом разглядывала студенческую братию.

Ну вот, например, Оля Кувалдина. И вправду Кувалдина — высоченная, здоровенная, с грубым, рябоватым лицом, бесцветными губами и серыми, холодными, стальными глазами. Как ей подходит эта фамилия! Оля считалась негласным гением, и даже суровый Хорецкий ее нахваливал.

На его похвалы Оля реагировала спокойно. С достоинством кивая и сводя брови, говорила, что надо стремиться к лучшему.

Или Милочка Гордеева, внучка академика живописи, хорошенькая, как игрушка: тонкая талия, длинные ноги, светлые локоны, карие глаза. Милочка была легкой и легкомысленной. И учеба, и лекции, и семинары, и натура с пленэром ее раздражали. Она крутила хорошенькой головкой, громко вздыхала и с тоской поглядывала в окно — хотелось на волю.

Катю Самохвалову, нездорово полную, рыхлую, с вечным страданием на несчастном, отечном лице, привозили в училище в инвалидном кресле, и мама караулила дочь до самого конца занятий. Говорили, что Катя талантлива, но жить ей осталось немного — страшная болезнь съедала ее изнутри. Наташа старалась на нее не смотреть — тяжело.

Из парней она выделяла троих — Булкина, Карпенко и Галаева. Чингиза Галаева, первого красавца курса, а может, всего училища.

Сеня Булкин всех веселил — был по природе клоуном. Травил анекдоты, рассказывал байки и, кажется, не боялся самого Хорецкого. Сеня крутил роман с Милочкой, но вскоре они расстались.

Вася Карпенко, родом из маленького поселка в Восточной Сибири, как сам говорил, из медвежьего угла. Был он высок, темноволос

и светлоглаз. И если бы не здоровенный картофельный нос, то Васю Карпенко вполне можно было бы назвать красавцем.

Вася был самым старшим, поступил после армии и всем казался пожившим и опытным мужиком. Жил в общежитии, подрабатывал дворником, зимой ходил в военной шинели и кирзовых сапогах. Народ посмеивался, что это всего лишь образ эдакого деревенского мужика, неловкого и наивного лаптя, а на деле Васек не так прост и именно он сделает большую карьеру. Кстати, так все и вышло — вскоре Вася женился на дочке какого-то важного партийного босса, покинул общагу и переехал в хоромы на улицу Герцена.

Чингиз Галаев был... Нет, не так — он казался Наташе богом и был красив, как самый настоящий бог: среднего роста, худощавый, но крепкий, широкоплечий, как говорили — жилистый. С длинными, до плеч, блестящими черными волосами и черными, невыносимо глубокими и грустными глазами, опущенными густыми, «девичьими», загнутыми кверху ресницами. На острых, выдающихся скулах синела щетина, рот был красивый, узкий, плотно и сурово сжатый.

Его руки, тонкие, нервные, изумительной красоты, Наташу завораживали — она смотрела, как он держит карандаш, как в волнении крошит мелок, как сосредоточенно смешивает краски

на палитре, как осторожно пробует ворс кисти. Все это было зрелищем волшебным, чарующим, гипнотизирующим. Весь его облик: узкие потертые джинсы, грубые армейские башмаки, широкий растянутый свитер, весь он, молчаливый, серьезный, нахмуренный, ее завораживал.

Пребывая в каком-то мороке, почти забывши, словно под не отошедшей еще анестезией, Наташа поняла, что смертельно влюбилась.

Чингиз ни с кем не дружил. Так, по-дружески бросит: «Привет, как дела, что нового?» Но ответ, похоже, его не интересовал. Наташа видела, как он мрачнел и скучнел, пытаясь закрыться, поскорее сбежать от чьих-то ненужных откровений, какая нескрываемая скука была написана на его прекрасном лице, когда кто-то рассказывал ему свежий анекдот, смешной случай, какую-нибудь новость.

Теперь вся ее неинтересная, пресная, ужасно скучная жизнь наполнилась смыслом — она полюбила.

Полюбила без всякой надежды на взаимность: где он, этот строгий и невозможный красавчик, подступиться к которому не решаются даже самые видные студентки, он, несомненный талант, хмуро и осторожно признанный самим Хорецким, и где она, скромная, молчаливая натурщица из Вороньей слободки, рабочего поселка, попавшая сюда случайно, по стечению обстоятельств?

Да нет, ни о чем она не мечтала. Какое? Видела же, видела и злилась, расстраивалась до слез, как крутятся возле Чингиза та же Милочка и высоченная блондинка со старшего курса, красивая до невозможности, зеленоглазая и пышногрудая, в тугих, обтягивающих джинсах, с блестящими кольцами на холеных руках. Где все они, эти модные, смелые, нахальные и недосягаемые московские девицы, и где она, Наташа Репкина, сирота, околзаводская нищета, обычная, каких тысячи. Вон, на каждом шагу! Даром что миленькая — таких на рубль пучок!

Людка, конечно, все углядела — правильно говорят, глаз-алмаз, — перехватила ее взгляд и расхохоталась. Ну и началось воспитание:

— Приди в себя, посмотри в зеркало, нищета, подзаборье. И вообще — что в нем особенного? А, ну да — загадочность! Ну если это главное... Ты лучше на Ваську внимание обрати — вот этого можно охомутировать, обработке поддастся. Опять же, свой, простой и незатейливый. Хотя, — и Людка со вкусом затянулась, — лично мне муж-художник не нужен. Не тот контингент. Кто там знает, кому повезет? Лотерея! Кто из них станет известным, у кого будут заказы и звания? А если нет — тоска-а-а! — тянула Людка. — Тоска и нищета. Ты мне поверь, я все про них знаю! Муж, Натка, нужен с серьезной профессией! А эти мазилки-мурзилки — так, ерунда! А про этого южного красавчи-

ка ты вообще забудь, поняла? — в который раз хмурилась Людка. — Раз и навсегда, усекла?

Да что тут не усечь — сама понимала. Только сердце не слушалось, у него свои правила и свое расписание.

Насчет подработки Людка не соврала — не часто, но студенты приглашали натурщиц для частных сеансов. Трешка в час, шикарная халтура! Чаще кооперировались — нищая студенческая братия выкручивалась как умела. Наташа была рада любой подработке, видела, как Ганька выбивается из сил, пытаюсь прокормить семью.

А однажды случилось невозможное — к ней подошел он, сам Чингиз Галаев. Кажется, был смущен. Отвел глаза, когда заговорил про деньги. В общем, смутился окончательно.

Да и Наташа стояла чуть жива. Залепетала что-то невнятное, дурацкое:

— Не надо денег, я и так... помогу! Что вы, мне совсем не сложно, да и времени у меня навалом, честное слово!

Галаев посмотрел на нее с удивлением:

— Ну об этом и нет речи, любая работа должна быть оплачена.

Он говорил что-то еще, но она уже не очень слушала и не очень понимала. В голове стучало одно — он пригласил ее в мастерскую. В свою мастерскую. Они будут вместе. Одни.

Лишь бы не задохнуться от этого счастья. Лишь бы ничего не сорвалось и он бы не пере-

думал! Лишь бы все срослось, и срослось поскорее!

— Когда? — переспросил он и задумался. — Ну, скажем, в субботу после занятий? Тебе удобно?

Мелко закивав, она затараторила:

— Да, да, очень удобно! Вы не волнуйтесь, я не передумаю, нет! Ага, значит, в эту субботу? Сразу после занятий? — повторяла она.

Удивленно вскинув брови, он молча кивнул. А Наташа так и осталась посреди коридора — растерянная, обалдевшая и самая счастливая, самая. Оставалось дожидаться субботы. Оставалось просто дожить.

Дома была тоска. Когда родился племянник, жизнь стала совсем невыносимой. Танька родила раньше срока, отсюда и все последствия — Ростислав, Ростик, был хиленьким, слабеньким и цеплял все подряд, от простуды до воспаления уха, от кишечных расстройств до пневмоний. Ел плохо, спал отвратительно, и Наташа, глядя на этого скрюченного, дохленького, с вечной гримасой страдания и недовольства ребенка-червячка, горько вздыхала: вот это и есть пресловутое материнское счастье? Кажется, да.

Так и жили: Валерик пил, племянник орал, а измученная Танька валилась с ног. Придя из училища, Наташа вставала к плите и корыту, а после забирала маленького, давая сестре хоть немного поспать.

После ужина уходила к себе, только чтобы не слышать семейных скандалов. Затыкала уши ватой и читала «Графиню де Монсоро» или «Графа Монте-Кристо». Вот где была настоящая жизнь! Настоящие страсти, интриги, страдания! Красивые люди в красивых одеждах, настоящая любовь, безжалостное предательство и глубокая, честная верность.

Выглядывать за окно не хотелось, выходить на кухню тоже. Как там было тоскливо, как мелко были проблемы, ничтожны люди, как скучно и некрасиво им, этим людям, жилось!

В субботу после занятий она караулила Галаева в коридоре. Хорошо, что никто не дергал, не доставал и не подтрунивал, — у Людки был выходной.

Галаев вышел из аудитории, и Наташа почувствовала, как бешено, навывлет заколотилось сердце. А если он забыл или передумал? А если договорился с кем-то другим? В панике чуть не бросилась ему под ноги. Но нет — увидев ее, он сделал ей знак:

— Привет.

В бессилии Наташа прислонилась к стене. Показалось, что внутри у нее ничего, только воздух. И как трясутся ноги, только бы не упасть!

Через полчаса они зашли в метро. Уставившись в одну точку, Галаев все так же молчал. Но

он был здесь, рядом, на расстоянии каких-то ничтожных полуметров. Да нет, даже меньше. Вот он, тут, рядом с ней, и Наташа чувствует его дыхание, его запах: запах кожи, волос, одежды. Обоняние обострилось до невозможного.

— Выходим, — коротко бросил он на станции «Парк культуры».

По дороге заговорил, объяснил:

— Мастерская, как понимаешь, не моя. Живу там на птичьих правах — сторожу, караулю. Хозяину мастерской она теперь без надобности, ушел в начальство, так что мне повезло. Ничего особенно не требует — плати коммуналку, и все. Ну вот и пришли, — кивнул он на лестницу в полуподвал. — Мои апартаменты. Вернее, не мои. — Галаев улыбнулся, обнажив прекрасные, ровные и невозможно белые зубы.

Наташа стала спускаться по корявым, кривоватым ступенькам. Он оглянулся и подал ей руку — прохладную и легкую.

«Наверняка он и не знает, как меня зовут, — подумала она. — Интересно, захочет спросить?»

В небольшой, полутемной и страшно захлавленной мастерской было холодно. В углу стояла буржуйка. Наташа вспомнила, что у них такая была в бараке. Тепло буржуйка отдавала щедро, но и вылетало оно моментально.

Чингиз ловко затопил печурку и поставил огромный алюминиевый, до черноты закопченный чайник.

К чаю нашлось влажное, рассыпающееся печенье, засахаренное варенье из уже непонятных фруктов и даже плавленый сырок «Волна» — в общем, пир на весь мир.

Комната была уставлена непонятными и, кажется, ненужными вещами — кроме трех облезлых мольбертов в ней расположились узкий диванчик с кучей подушек и одеялом без пододеяльника, торшер с прожженным абажуром, полное мусора дырявое, кривое, без крышки ведро, два стула солидного возраста, кресло с рваной обивкой, торчащей пружиной и отломанным подлокотником, у стены несколько ящиков, самодельная полка с посудой — разномастными чашками с отбитыми краями, казенными, явно из общепита, тарелками, а в мутноватой поллитровой банке, как букет, торчали простые алюминиевые гнутые вилки и ложки. Там же, на полке, в рядок стояла увесистая пачка супов в пакетиках, именуемых суп-письмо. В углу — огромный лохматый веник с совком, у стен — повернутые к стене холсты на подрамниках и на всех возможных поверхностях — тюбики с красками, старые использованные палитры, кисти всяких размеров, банка с олифой и растворителями, два мужских гипсовых бюста, знакомые по училищу, но по именам героев Наташа не знала.

Пахло проросшей гнилой картошкой, которая обнаружилась в коробке за креслом, растворителями, олифой, масляными красками,

мышами, дешевым вином, стойким табачным духом, нечистым бельем, нежильем и убогим холостяцким бытом.

Но впечатления это не портило — она впервые попала в святая святых, мастерскую художника.

После чая Наташа согрелась, и Галаев предложил ей начать.

Он долго искал ракурс, поворачивал ее и так и сяк, наклонял голову и, попросив поднять подбородок, подтащил к ней калечный торшер, который, как ни странно, включился. Но света было мало, это понимала даже она — какой уж тут свет без единого окна, с тусклым светом от торшера и лампочки Ильича на потолке.

— Ничего не поделаешь, — хмуро бросил Чингиз. — Твой портрет назовем «Портрет девушки в сумерках».

Ах, как ей понравилось это название!

Девушка в сумерках сидела боком, положив руки на спинку стула, а голову на руки, и смотрела куда-то вдаль, правда, «даль» оказалась помойным ведром и сломанным креслом. Но все это было неважно. Важно было одно — она здесь, рядом с ним, с самым прекрасным, самым красивым, самым талантливым мужчиной на свете. Вдвоем.

После сеанса они снова пили чай, доедали крошившееся печенье, выскребали со дна непонятное варенье — Наташа предположила, что клубничное.

Галаев рассказывал ей о себе. О маленьком селе в долине реки Каракойсу в Нагорном Дагестане, строгих вековых, неотменяемых обычаях маленького народа, о своих предках, медночеканщиках по мужской линии и женщинах, ткущих ковры.

С нескрываемой гордостью он говорил, что еще никому — никому, ты поняла? — никому и ни разу не удалось завоевать его храбрый и гордый народ. Рассказывал, как аварцы уважают пожилых людей, как прислушиваются к их мнению, что у них до сих пор обязательно сватают и по-другому не бывает. А если кто-то ослушается и поступит по-своему — позор для семьи и кровная месть. Правда, спустя какое-то время ослушавшихся и сбежавших прощают, но все равно это позор, и скандал неизбежен.

Наташа слушала, открыв рот. Все это: обычаи, история и традиции маленького народа, о котором она раньше не слыхивала, казалось ей сказкой. И это сейчас, в конце двадцатого века?

— Выходит, ты тоже женишься на своей? — со вздохом уточнила она. — Раз так принято?

Чингиз пожал плечами.

— Ну... — протянул он. — Может, и так. Только я отрезанный ломоть, я уже, — запнулся он, — немного другой. Я ведь уехал. Да и аварки в Москве не найти!

Наташа чуть успокоилась — выходило, что не все потеряно.

У двери он протянул ей три рубля:

— Твоя зарплата.

Вздрогнув, она отскочила, как от змеи:

— Нет, нет, что ты, не надо! У меня есть зарплата! Нет, и не уговаривай, я не возьму! Ни за что не возьму! — И тихо, осторожно добавила: — Мы же... друзья?

Он посмотрел на нее с удивлением и деньги все же убрал, хотя и добавил, что это неправильно:

— В конце концов, ты потеряла свое время, которое могла потратить на друзей, сходить в кино с молодым человеком или с подружкой.

Наташа сдержалась, чтобы не рассмеяться. С молодым человеком? С друзьями? Нет у нее друзей, Людка не в счет, Людка ходит в кафе с другими. И молодого человека у нее нет, а есть одиночество и любовь. К нему, к Чингизу.

На Остоженке Наташа стала частой гостьей, пару раз в неделю уж точно туда приходила. Работали, пили чай, иногда Чингиз что-то рассказывал, но чаще всего молчал. И Наташа, неразговорчивая от природы, привыкшая, что ее мнение вряд ли кого-то интересует и ей, необразованной, серой и скучной, нечем делиться, тоже молчала.

Как-то он пошутил:

— А из тебя, милая, выйдет отличная жена. Молчишь, со всем соглашаешься, никогда не споришь, и все тебе нравится.

Наташа покраснела и промолчала. Но на одном настояла — на субботнике. За окном расцвёл тёплый май, распускались молодые липкие листочки, пахло черемухой и прибитой после короткого дождя пылью, свежестью — в общем, пахло весной. Во дворах, учреждениях, школах и институтах раздавали метлы и грабли. По спортивному одетый народ вяло сгребал прошлогоднюю листву и подметал разбросанный мусор. Потихоньку прихлебывая тайком принесенный портвейн и закусывая его незатейливым плавленым сыром, мужики прятались за кустами, а уставшие женщины, присев на скамейки, доставали термосы и домашние бутерброды. Семейные торопились домой. Семейные женщины, но не мужчины — для тех была вольница.

После субботника во дворе училища Наташа подошла к Чингизу. По счастью, он был один.

— Ко мне, на уборку? — удивился он. — Да что ты, зачем? Там же авгиевы конюшни, не разгрести! Да и вообще, зачем тебе это надо?

— Надо, — настаивала она. — Ну потому что... — Чуть не вырвалось «я же там бываю».

Вовремя спохватилась. А вдруг он ответит: «Не нравится — не приходи!»

Наконец Галаев согласился.

Проголодались и по дороге купили сыру, колбасы, каких-то консервов.

После уборки — и вправду работы там было на несколько дней — сели пировать. Галаев так и сказал:

— Сегодня у нас пир и праздник — День чистоты.

— Ну до чистоты тут далеко, — засмеялась Наташа.

В тот день после импровизированного ужина Чингиз впервые показал ей свои работы. На повернутые холсты падал скупой и тусклый полуподвальный свет. Но именно он, этот свет, делал их загадочными и необычными.

Наташа стояла как завороженная.

Нет, она ровным счетом ничего не понимала в живописи, даром что уже полгода работала в художественном училище. И ни на одной выставке не была, ни в одном музее.

— Ты не была в Третьяковке? — Удивлению Чингиза не было предела. — Как же так, ты же москвичка, прожила здесь всю жизнь!

Наташа расплакалась. Боже, как было стыдно! Но как ему объяснить, что никакая она не москвичка, не столичная жительница, а заложница тухлой Вороньей слободки, где свои правила и свои обычаи? Да нет, все не так, прав Чингиз. И не в родителях ее дело и не в бедной, замученной Таньке. Дело в ней. Это она темная, убогая и жалкая дура, никчемная и нищая духом.

— Ладно, — смутился он. — Свожу тебя в Третьяковку. И в Пушкинский свожу. Что я, дурак,

к тебе пристал? В конце концов, ты с меня денег не берешь, говоришь, что мы друзья, а я тут... Нравоучаю. Прости, а? Простишь? — Он заглянул Наташе в глаза.

Она и не думала обижаться! Да разве только это она бы простила? Она бы ему простила все, абсолютно все — предательство, измену, воровство и даже убийство! Только бы он был здесь, рядом с ней. Только бы смотреть на него, слушать его голос, видеть, как он хмурится, прикусывает губу, сводит брови, оттирает от краски руки, откидывает со лба густую черную челку. Она готова на все, лишь бы быть с ним.

Никогда Наташа не ощущала себя такой счастливой.

Да, картины его были странными. Странными, необычными, сказочными. Ну вот, например, три разноцветные птицы на дереве. Ни таких птиц, ни такого дерева она никогда не видела — даже в книжках про пернатых или про растительную жизнь.

У дерева был оранжевый ствол и голубые листья. Разве такое бывает? А птицы? Вот эта, сиреневая с фиолетовым клювом и красным хвостом? Или белая, как мука, с серебристыми крыльями и синими, человеческими глазами с огромными, круто загнутыми ресницами? Разве у птиц бывают ресницы? Или вот третья — черная, блестящая, покрытая не перьями, а как будто шерстью? Да, да, настоящей мохнатой

шерстью, не птица — зверек! Зверек с зелеными крыжовенными глазами! Чудеса. «Фантазия художника, — как говорил Хорецкий и недовольно добавлял: — Мне здесь ваши фантазии не нужны, мне нужны пропорции, точность и геометрия».

Никакой геометрии в картинах Галаева не было и в помине.

С трудом отведя глаза от загадочных птиц — а заворожили они ее не на шутку, — Наташа увидела другую картину.

— Что это? — вздрогнула она.

— Мандариновый лес.

— Лес? — хрипло повторила она. — А разве такое бывает?

Чингиз молча развел руками.

Фантазия художника, вспомнила она. Все правильно, совсем необязательно писать так, как есть на самом деле — вырисовывать детали, лепестки ромашек, бутоны роз, правильные глаза и руки, пуговички на рубашке, складки на платье. Художник имеет право писать так, как видит и представляет. Ну есть же писатели-сказочники. Выходит, есть и художники-сказочники. Ее любимый был из таких. Волшебные разноцветные птицы, несуществующий мандариновый лес...

Мандариновый лес. Картина была темной, хмурой, немного пугающей. На изумрудных елях висели мандарины. Но вот Чингиз вклю-

чил верхний свет, и мандарины зажглись, вспыхнули, как маленькие лампочки, засияли, озаряя золотистым светом и темный лес, и почти черную землю. Картина посветлела, ожила, забликовала. И Наташе показалось, что она чувствует горьковатый и острый запах мандариновой кожуры.

Чудеса. Теперь она поняла, о чем говорил Галаев. Ей хотелось посмотреть на картину снова и снова.

— А что это за лес? — спросила она. — Из какой-то сказки?

Он усмехнулся:

— Ну да, сказочный лес. Я его сам придумал. Знаешь, — он помолчал, словно раздумывая, говорить или нет, — может, приснилось, точно не помню: за тридевять земель есть такой лес. Дойти до него... Ну, как взобраться на Эверест или Памир — в общем, непросто. Но если дойдешь, дойдешь и сорвешь золотой мандарин, то твое желание обязательно сбудется!

— Любое? — хрипло спросила Наташа.

— Любое! — серьезно подтвердил Галаев.

Наташа молчала.

— Эй! — Он тронул ее за плечо. — Наташа, очнись! Ты что, и вправду поверила?

Она медленно перевела взгляд от картины на него. Посмотрела ему в глаза.

— Ты же сам говорил: волшебная сила искусства.

— Глупенькая моя! — вздохнул он и прижал ее к себе. И тихо добавил: — Спасибо.

«Моя». Он сказал «моя»! Сердце зашло от счастья.

В Пушкинском музее, куда он ее сводил, она долго разглядывала странные и непонятные картины — правда, как звали художников, не запомнила, с фамилиями у нее трудности. Но странными и непонятными они были только на первый взгляд. А если внимательно присмотреться и рядом есть человек, который может тебе объяснить, совсем другое дело.

И все-таки ей не понравились кривые, словно составленные из кубиков, лица, и странная, похожая на мальчишку, тощая и кривая, словно вывернутая, девчонка на шаре и здоровенный, страшноватый мужик. Не понравились и толстые, кривоногие, очень губастые черные женщины с голыми обвисшими грудями, в ярких цветастых юбках и с фруктами в руках. И похоже на пришельцев-инопланетян гнутые оранжевые не то девушки, не то мужики, в общем, не поймешь кто, танцующие хоровод, тоже произвели на Наташу странное впечатление.

И пусть Чингиз объяснял ей, что это специальное течение, революционное, смелейшее направление, переворот в живописи и все остальное, она, конечно, кивала, но ей по-прежнему нравилось совершенно другое.

В Третьяковке у невероятно огромной, почти во всю стену картины «Явление Христа» она столбенела. Невероятно! Какие живые, красивые лица! Как здорово выписан человек — каждый волосок, каждый пальчик!

А всадница на коне — темноволосая красавица в шляпе и шелковом блестящем платье! А рядом прелестное кудрявое дитя и худющая, с умными глазами собака. Или смущенная молодлица, убегаящая от жениха. И румяные, пухлые, милые дамочки в шляпках, шурящиеся на солнце. И Париж в голубой дымке в Пушкинском ей тоже понравились — пусть необычно, но понятно и очень красиво.

А что красивого в человеке, состоящем из кубиков? Или в нищем, ободранном, жалком старике с глазами, полными слез? При виде него сжимается сердце, хоть плачь. А она хочет радоваться и любоваться.

Но вслух ничего не сказала. Он тратит на нее время, терпеливо рассказывая, что и как, называет имена художников и объясняет их манеру письма.

Наташа, как прилежная ученица, даже хотела записывать — в голове была полная каша. Да и фамилии все иностранные, незнакомые — попробуй запомнить! Но так и не вытащила свой блокнот и ручку. Как всегда, постеснялась.

«Вот так и он, — подумала она. — Придумал какой-то мандариновый лес, а его не бывает.

И почему обязательно лес? И чем его не устроил мандариновый сад?» Но не ей судить, не ей, с ее-то образованностью. И вообще, какое она имеет на это право? Да, непонятно и далеко от реальности. Но разве дело в этом? Чингиз говорил, что искусство должно волновать, трогать душу. Заставлять возмущаться, даже негодовать, но непременно цеплять, чтобы к картине хотелось подойти еще и еще. Чтобы она завораживала.

И все-таки странные были у них отношения. Виделись они почти ежедневно — в классах, на натуре. Делали вид, что едва знакомы. Наташа была уверена, что Чингиз ее стесняется — вон сколько вокруг симпатичных, образованных и талантливых, модных студенток! А она жалкая натурщица, позирующая полуголой за крошечную зарплату. Да и к тому же она не наглая и нахальная Людка, которая на равных ржет и болтает в курилке со студенческой братией.

Кроме музея, Чингиз ничего не предлагал — ни сходить в кино, ни погулять в парке.

Но Остоженка оставалась, и это было самым главным. Там все происходило по единожды введенному порядку: она ставила чайник, резала бутерброды, и они пили чай. Чингиз что-то рассказывал или молчал, ну а потом приступали к работе.

Теперь он писал ее обнаженной — ну почти обнаженной. Ее прикрывала простыня, появ-

занная, как римская тога, так объяснил Чингиз. Два включенных раскаленных рефлектора обжигали ей ступни. Становилось невыносимо душно, но она терпеливо молчала.

Рисовать он мог и час, и два, и даже четыре, в зависимости от настроения. У Наташи затекали спина и ноги, отнимались руки и камела шея. Страшно стесняясь, она обливалась потом, но никогда не жаловалась, не капризничала. Только молилась: «Боженька! Продли эти минуты, я тебя умоляю! Пусть я буду ему нужна! Только пусть он захочет позвать меня снова!»

Теперь у нее был свой ключ от мастерской, и кое-какой порядок она там навела: до блеска отмыла и чайник, и единственную сковородку, и кастрюльку, в которой они варили картошку. Отдраила старую электрическую плитку, отмыла черные от заварки чашки. В углу появился новый пластмассовый тазик для стирки, в старом чемодане, который Наташа принесла из дома, лежало постельное белье. Пол вымела и почти отмыла от краски, торшер обтянула новой тканью — куском пестрого шелка, оставшегося от Танькиного единственного нарядного платья. Диванчик застелила стареньким пледом. На столике теперь стояли цветы в керамической вазочке.

Осмелев, как-то притащила из дома двухлитровую банку щей, за что получила:

— Больше никогда, слышишь? Не смей. Мне этого не надо, я давно привык по-другому!

Здорово он тогда разозлился. Почему, Наташа так и не поняла. Ладно бы щи не понравились! Но ведь не попробовал, а сразу кричать. Обидно было ужасно, она ведь старалась.

Поделилась с Людкой. Та объяснила:

— Да чего тут непонятного? Не хочет он впускать тебя, не поняла?

— Как это — впускать? — переспросила Наташа. — Куда?

— Так это, — хмыкнула Людка, — обделался твой Чингиз-хан, испугался! Решил — сначала щи, потом лифчики с трусами свои перетащишь. А следом сама тихой сапой раз — и все, я тут живу! Дура ты, Репкина! Ты с ним поаккуратней. Прогонит взашей и не извинится! Таких, как ты, у них по три вагона на каждом шагу. Ну? Дошло до жирафа на пятые сутки?

Нет, все-таки не дошло. И что такого было в банке щей, чтобы так разозлиться?

Как-то чудно. Но обиду свою проглотила — Людка права, таких, как она, пучок на пяточок. Только совсем не так Наташа представляла отношения влюбленных. Впрочем, о чем она, о каких влюбленных? Влюбленных здесь не было — была одна влюбленная. Влюбленная дурочка Репкина Наталья.

Нет, на узеньком диванчике, застеленном свежим бельем, все было прекрасно. Он об-

нимал ее и шептал нежные слова. Правда, так тихо, в самую шею, что она их почти не разбирала. Но чувствовала, что это что-то нежное, сокровенное — кажется, он повторял слово «милая». Да и какая разница, что он шептал? Важно другое — она была самой счастливой.

После бурных ласк Чингиз всегда засыпал, отворачиваясь к стене, а Наташа осторожно гладила его по мускулистой и смуглой спине, тихо и аккуратно, кончиками пальцев, почти не касаясь. И смотрела на мандариновый лес.

Что она пыталась увидеть в этой темной малахитовой чаше, где на ветках непонятных, придуманных раскидистых и густых деревьев с острыми голубоватыми иголками, как яркие лампочки, вспыхивали и бликовали золотисто-оранжевые шарики мандаринов? Елочные игрушки, маленькие лампочки надежды, освещающие путь, улыбалась она, крошечные солнышки в густом, темном, непроходимом и диком лесу. Да, именно так — маленькие и яркие солнышки, без которых бы все было совсем страшно и безнадежно.

Кажется, теперь она поняла, для чего все это. Дошло до жирафа. Кажется, дошло.

Там, на Остоженке, она никогда не спала. В чернильной темноте комнаты вглядывалась в его силуэт, затылок, плечо. Красивая шея. Откинута рука, красивее которой она не видела. Наташа слушала его дыхание, тревожное